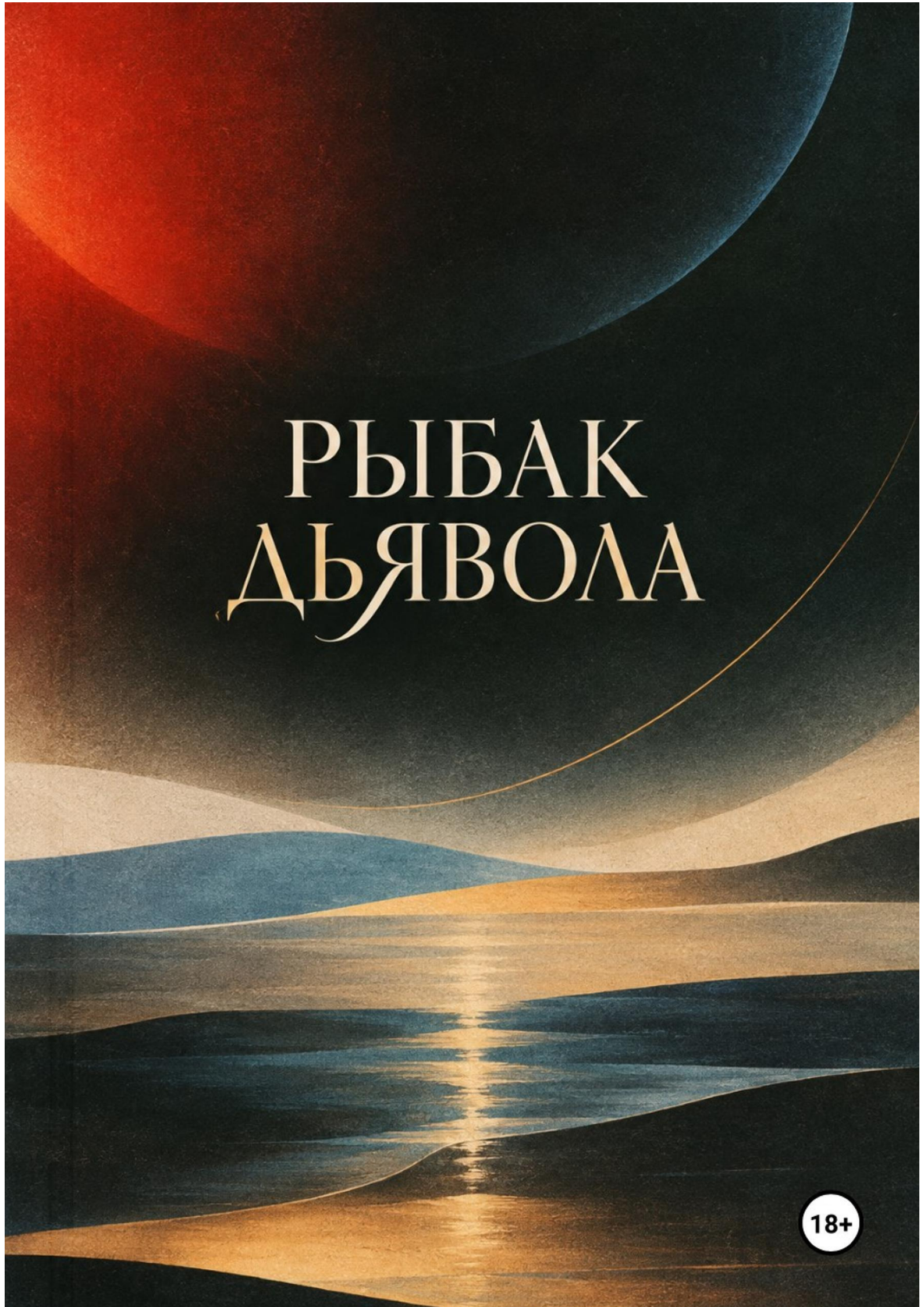




РЫБАК ДЬЯВОЛА

18+

Адиом Тимур

Рыбак дьявола

«Автор»

2026

Тимур А.

Рыбак дьявола / А. Тимур — «Автор», 2026

Он был хозяином преступной империи. Теперь он — астраханский рыбак. Мексика, 2002 год. Элиас Варгас построил криминальную империю и привык выживать там, где ошибка стоит жизни. Но однажды его убивает снайпер. В то же самое время на Волге погибает простой рыбак Тимофей Малов, случайно узнавший слишком много о людях, которых лучше было не замечать. Они должны были исчезнуть. Но смерть перепутала их местами. Элиас приходит в себя в астраханской больнице — в чужом теле, с чужой памятью и женщиной, которая считает его своим мужем. Теперь ему предстоит прожить чужую жизнь и разобраться, кто убил Тимофея. Но чтобы выжить, ему, возможно, придётся снова стать тем, кем он был раньше. А Волга, похоже, знает о его смерти гораздо больше, чем должна.

© Тимур А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Два выстрела в один день	5
Глава 2. Чужое небо	10
Глава 3. Человек от артели.	14
Глава 4. Дом	18
Глава 5. Затопленный сарай	23
Глава 6. Палыч	27
Глава 7. Артель	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Рыбак дьявола

Глава 1. Два выстрела в один день

Мексика. Синалоа. Ранчо «Лас Пальмас».

Август 2002 года. 6:47 утра.

Рауль нашёл его в три часа ночи.

Элиас не спал — сидел на кровати в темноте, босой, в расстёгнутой рубашке. Он не спал уже вторую ночь, но это не имело значения. В двадцать лет он мог не спать трое суток и после этого провести переговоры, от которых зависели жизни четырнадцати человек. Сейчас ему сорок один и он всё ещё мог, просто не хотел.

Рауль остановился в дверном проёме. Не вошёл — восемнадцать лет рядом с Элиасом научили его чувствовать, когда входить, а когда стоять. Невысокий, сухой, с лицом которое невозможно запомнить и невозможно забыть если знаешь что за ним стоит. Рауль Сепеда, правая рука, единственный человек который знал все три бизнеса целиком — оружейный коридор из Аризоны, переправу людей через границу, фармацевтическую сеть в Калифорнии. Единственный человек в организации который принципиально не носил оружия. Элиас за восемнадцать лет так и не понял почему, и это было одной из немногих вещей, которые он уважал не понимая.

— Дон Элиас. — Голос тихий, ровный. — Люди Эрреры.

Пауза.

— Охрану сняли в час. Четверо ушли сами. Рикардо и Пачеко — их отозвали, я проверил. Звонок был из Тихуаны.

Элиас кивнул.

Тихуана. Значит, Эррера работал с тихуанского конца. Логично — он десять лет держал приёмную сторону коридора, через него шло всё что пересекало границу в обоих направлениях. Оружие на юг — «АР-15», «калашниковы», гранатомёты, бронежилеты. Люди на север — двести-триста человек в месяц, по три-пять тысяч долларов с каждого, четыре маршрута от Кульякана до Тусона, свои проводники, свои точки, свои люди в пограничной полиции с обеих сторон. Фармацевтика — инсулин, кардиопрепараты, обезболивающие, всё что в Штатах стоило сотни, в Мексике десятки. Через те же коридоры, в те же аптеки в Аризоне и Калифорнии.

Двенадцать миллионов долларов годового оборота только по оружию. Ещё столько же по остальным направлениям. Сто двадцать человек — водители, проводники, складские, бухгалтеры, четыре юриста в Мехико, два контакта в DEA, которые закрывали глаза на фармацевтику в обмен на информацию о конкурентах.

Двадцать три года он строил эту машину. Начал в восемнадцать, курьером, с незажившим ножевым шрамом на животе — мальчишка из чужой банды в подворотне Кульякана, трясущиеся руки, случайный удар. К тридцати Элиас контролировал коридор от Кульякана до границы. К тридцати пяти — весь штат Синалоа. Четыреста километров тихоокеанского побережья. Калифорнийский залив. И ни разу — ни разу за все эти годы — он не подошёл к воде ближе чем на двадцать метров.

— Сколько у нас? — спросил он.

— Здесь — двое. Я и Мигель, у ворот. Из Кульякана могу поднять людей за сорок минут.

— Не надо.

Рауль не переспросил. Другой бы переспросил. Рауль просто стоял и ждал.

— Когда? — спросил Элиас.

— Рассвет. Может раньше.

Элиас посмотрел на тумбочку. Фигурка Санта Муэрте стояла там, где стояла последние одиннадцать лет, — гипсовая, в ладонь высотой, облупившаяся, коса в правой руке, пустые глазницы. Он купил её на рынке в Кульякане за двадцать песо у старухи, которая сказала: «Она будет с тобой пока ты с ней». Элиас не верил в это тогда. Не верил и сейчас. Но фигурка ездила с ним двадцать лет, через четыре резиденции, два покушения и одну федеральную облаву, из которой он вышел через заднюю дверь ресторана в Масатлане, пока его люди держали парадную.

— Уходи, — сказал он Раулю.

— Дон Элиас.

— Бизнес — тебе. Всё готово, документы у Сильвы в Мехико. Португалию закрой — дом продай, деньги из банка заberi, четыре миллиона на кипрском счёте, реквизиты в сейфе в Кульякане.

Рауль молчал. Элиас видел в темноте как изменилось его лицо — на полтона, не больше. За восемнадцать лет он видел как Рауль реагирует на всё: на смерть, на деньги, на предательство. Рауль реагировал одинаково — почти никак, если не знать куда смотреть.

— Я не уйду, — сказал Рауль.

— Это не просьба.

— Я знаю.

Они смотрели друг на друга в темноте.

— Рауль.

— Да, дон Элиас.

— Уходи. Сейчас.

Рауль стоял ещё три секунды. Потом развернулся и вышел. Шаги по коридору — тихие, размеренные, восемнадцать лет одного и того же ритма. Потом хлопнула дверь на другом конце дома. Потом — тишина.

Элиас встал. Надел ботинки. Рубашку застегнул, белую, чистую. Взял кофе — сварил ещё вечером, разогрел на плите в кухне, налил в кружку, ту самую, глиняную, без ручки, которую ему подарила женщина из Масатлана, чьё имя он забыл, а кружку оставил.

Вышел на веранду.

Утро ещё не наступило, но небо уже серело на востоке. Гора Тасте чернела на фоне этого серого — тяжёлая, неподвижная, как всё в Синалоа. Жасмин у перил пах так, как пахнет жасмин когда воздух ещё не прогрелся, — резче, чище, чем днём. В загоне фыркала лошадь — каурая, по кличке Рейна, шесть лет, единственное живое существо на ранчо, к которому Элиас испытывал что-то похожее на привязанность.

Он поставил кофе на перила. Сел в плетёное кресло. Сидел и ждал.

Он мог уехать. Четыре машины в гараже, включая бронированный «Субурбан» с полным баком. До Кульякана сорок минут по шоссе. Там — люди, стволы, стены. Мог позвонить. Телефон лежал в кармане, в памяти одиннадцать номеров людей, каждый из которых приехал бы с оружием и без вопросов.

Не позвонил.

Может, устал. Двадцать три года — это много. Может, просто хотел допить кофе на веранде в тишине, в запахе жасмина, перед тем как гора Тасте окрасится розовым. Он видел это девятьсот раз, примерно. И каждый раз это было одно и то же. И каждый раз — другое.

Или, может, всё было проще. Может, ему было сорок один и он впервые в жизни не знал, зачем вставать с кресла. Португалия, белый дом с красной черепицей, виноградники, утренний свет на каменных стенах — всё это существовало в его голове три года, аккуратно спланированное, оплаченное, подготовленное, как подготавливают операцию. И теперь, когда между ним и этим домом стояла одна ночь и один снайпер, он вдруг почувствовал что ему всё равно.

Не всё равно — жить или умереть. Всё равно — там или здесь.

Элиас Варгас за двадцать три года не подходил к воде. Это было единственное, чего он боялся.

Его отец — рыбак из посёлка на берегу Калифорнийского залива, крепкий, немногословный человек, который пах солью и дизельным топливом — утонул на глазах у девятилетнего Элиаса в трёхстах метрах от берега. Лодка перевернулась. Отец не умел плавать — это звучит абсурдно для рыбака, но в посёлке это было нормально. Старая логика: кто умеет плавать, того море заберёт дальше от берега, и он утонет там, где никто не найдёт. Кто не умеет — останется у лодки, схватится за борт, дожждётся помощи.

Помощь не пришла. Отца нашли через два дня, в четырёх километрах от места.

Элиас стоял на берегу и смотрел. Не прыгнул — не потому что не хотел. Не умел. После этого он не подходил к воде. Построил империю в штате с четырьмястами километрами побережья и ни разу за двадцать лет не вошёл в океан. Ни разу не сел в лодку. Ни разу не встал на причал. Его люди знали это и не задавали вопросов, потому что у дона Элиаса не бывает слабостей — бывают особенности.

Солнце показалось над Тасте. Розовое, потом оранжевое, потом белое.

Снайпер работал с холма в восьмистах метрах к северо-востоку. Элиас вычислил направление потом — через две секунды после первой пули, по звуку, по задержке между ударом и хлопком. Крупный калибр, скорее всего .338 Lapua — на восьмистах метрах кладёт точно, если стрелок знает что делает. Стрелок знал.

Первая пуля вошла в левое плечо. Элиас не упал — откинулся в кресле, кофе полетел с перил, кружка без ручки разбилась о ступеньку. Белая рубашка начала темнеть от воротника вниз — быстро, как промокает бумага. Боль пришла через секунду, тупая и огромная, и он подумал с профессиональным спокойствием: подключичная, может быть, задело артерию.

Вторая пуля — в грудь. Справа, ниже ключицы. Удар был сильнее чем боль. Кресло опрокинулось, Элиас упал на доски веранды, на спину, и лежал, глядя в небо.

Небо было синее. Уже синее — пока он пил кофе, оно успело стать синим. Ни одного облака. Жасмин пах. Рейна в загоне заржала — не испуганно, она не слышала выстрелов на таком расстоянии. Просто заржала, потому что утро и потому что хотела есть.

Кровь на досках была горячеей. Доски веранды были тёплыми. Всё было тёплым, и это было неправильно, потому что снизу — из-под досок, из-под фундамента, из-под красной синалоанской земли — поднимался холод. Глубокий, тяжёлый, тянущий.

Вода.

Он чувствовал воду. Не слышал, не видел — чувствовал, всем телом, как чувствуют землетрясение за секунду до толчка. Ближайшая река была в сорока километрах. Океан — в ста двадцати. Но вода была здесь, прямо под ним, и она тянула.

Фигурка Санта Муэрте осталась на тумбочке. Он не взял её с собой. Двадцать лет носил — и именно сегодня не взял. Жасмин ещё пах.

Потом перестал.

Астрахань. Волга. Рукав Бахтемир.

Август 2002 года. 6:47 утра.

Тимофей Малов заглушил мотор в полукилометре от точки и перешёл на вёсла.

Двадцать четыре года на воде. С десяти лет — сначала с отцом, потом один. Армия, Каспийская флотилия, два года морской пехоты — это дало дисциплину и навигацию, но вёсла он умел держать задолго до армии. Руки делали сами: погружение, гребок, выход, разворот кисти на возврате чтобы лопасть шла ребром и не цепляла воду. Казанка скользила по рукаву бесшумно. Только капли с вёсел — мерные, тихие, как метроном.

Туман стоял плотно. Август на Волге — это когда утром не видно дальше пяти метров, когда река перестаёт быть рекой и становится замкнутым пространством, белым, глухим, без берегов и направлений. Тимофей любил это. В тумане он был один — по-настоящему, без оговорок, без людей, без Кузьмы который придёт в пятницу за долгом, без Михалыча который смотрит мимо когда говоришь ему в глаза, без тетради под половицей в которой четыре месяца записей и ни одного решения что с ними делать.

Тетрадь.

Школьная, в клетку, с корабликом на обложке — Надя принесла из школы пачку для учеников, он взял одну. Начал писать на следующий день после того что увидел в мае. Писал мелко, аккуратно, с датами — морская пехота научила: время, место, ориентиры, количество, направление движения.

В мае он задержался на Бахтемире допоздна. Мотор барахлил — старый «Вихрь», двадцать пять лошадей, карбюратор забило, пришлось чистить на воде. Провозился до темноты. Стоял в камышах, курил, ждал пока остынет движок. В одиннадцать вечера услышал моторы.

Не один мотор. Много. Тяжёлый, ровный гул — так звучат мощные подвесные на малом ходу, когда идут строем.

Три байды вышли из-за поворота рукава в семидесяти метрах. Десять метров длиной каждая, два с лишним шириной, стеклопластиковый корпус. На транце — по три подвесных «Ямахи», двухсотпятидесятиhorsepower. Семьсот пятьдесят лошадей на лодку. На глиссировании такая делает под девяносто по спокойной воде. Катер рыбоохраны — «Амур» с одним мотором — максимум сорок. Пытаться догнать — как пытаться догнать на «Жигулях» — «Феррари».

Тимофей лёг на дно казанки. Не от страха — от расчёта. В темноте, в камышах, его лодка была почти невидима, но только если в ней нет силуэта человека. Он лежал и смотрел через щель между бортом и банкой.

Байды шли без огней. Только красные точки на транцах — минимальные, чтобы не столкнуться друг с другом. На каждой четыре-пять человек. У двоих на ближней — обрезы помповых ружей, короткие, профессионально укороченные. Остальные — не видно в темноте, но что-то было, по тому как они двигались, как держали руки.

Байды прошли мимо и встали в тридцати метрах, у низкого берега. Начали разгружать.

Синие пластиковые контейнеры. Стандартные, литров на двести. Внутри что-то двигалось — тяжело, мощно, с плеском. Живая рыба. Белуга, осётр — Тимофей знал по звуку, он слышал этот звук всю жизнь. Живая белуга стоила в десять раз дороже мороженой. Килограмм живой рыбы в Москве — четыреста-пятьсот долларов. В контейнере — восемьдесят-сто килограммов. Три байды, по восемь-десять контейнеров на каждой. Одна ночь — товара на сто-сто пятьдесят тысяч долларов. Плюс чёрная икра белуги — две тысячи долларов за килограмм, на европейском рынке вдвое.

Тимофей лежал на дне казанки и считал деньги, которые проплывали мимо него.

Он увидел лица. Двоих узнал — работали на рыбоперерабатывающем заводе «Каспий-продукт», батуринском заводе, видел их на причале когда сдавал рыбу. Третьего не узнал, но запомнил: высокий, светловолосый, шрам на левой руке от запястья до локтя — длинный, неровный, не ножевой, осколочный. Потом, через месяц, узнал случайно — Денис Волков, правая рука Батурина.

Байдочники видели казанку. Тимофей понял это утром, когда вернулся к точке при свете — следы на берегу вели к тому месту, где он стоял, кто-то подходил, смотрел. Номер на борту казанки был читаемый.

С того дня он записывал всё. Четыре месяца. Маршруты, время выхода и возврата, точки разгрузки, ориентиры. Имена которые слышал на причале артели, когда Михалыч разговаривал по телефону и не знал что за стенкой кто-то есть. Суммы из артельной тетрадки Михалыча, которые не сходились с тем что сдавали на завод.

Последняя запись — три дня назад. Одна строчка: «Видел лица. Они меня тоже».

Он не пошёл в полицию. Не потому что боялся. Потому что в Астрахани все знали, с кем дружит Батулин, а кто не знал — тот догадывался. Тимофей служил два года в морской пехоте и знал одно правило, которое не было ни в одном уставе: не сообщай о проблеме тому, кто является частью проблемы.

Просто не знал что делать с тем что знал.

Надя вчера спросила: «Тим, может хватит? Уедем к сестре в Саратов, там работа есть нормальная». Он сказал — подумаю. Не подумал. Знал, что не уедет. Волга держала его. Это было иррационально и он это понимал.

Утро было хорошим. Тихим. Туман начинал подниматься — не расходиться, а именно подниматься, как поднимается занавес, медленно, открывая сначала воду, потом берега, потом небо.

Сапоги стояли дома у порога, слева, за ящиком с инструментом. Он ушёл без них — второпях, в резиновых тапках. Надя будет ругаться.

Гарпун пришёл из тумана справа.

Тимофей не услышал выстрела — услышал удар. Что-то тяжёлое вошло в шею с правой стороны, глубоко, с хрустом, и правая рука перестала работать мгновенно, как выключили. Весло ушло в воду. Он схватился за борт левой и посмотрел вниз.

Древко торчало из шеи на ладонь. Стальной наконечник — тот, трёхзубый, промышленный, которым бьют белугу. Не охотничий, не самодельный. Дорогой.

Где-то за туманом работал мотор — удалялся быстро, на полных оборотах. «Вихрь», сорок лошадей. Тимофей узнал звук, как узнал бы голос знакомого человека в толпе. Браконьерская байда, лёгкая, переделанная.

Пришли, сделали, ушли.

Он лёг на дно лодки. Крови было много — он чувствовал как она идёт, тёплая, быстрая, под рубашкой, под спиной, собирается на дне казанки. Небо было серое, августовское. Через час станет синим. Он знал это. Он видел это небо десять тысяч раз.

Надя не знает, где сапоги. У порога слева, за ящиком. Она всегда ищет справа.

Река качала лодку. Мерно, ровно. Как качала всю его жизнь.

Холод пришёл не сразу — сначала было тепло, потом тепло ушло и осталось что-то другое. Не холод воды, не холод воздуха. Что-то глубже, ниже, как будто река под лодкой стала бездонной и тянула вниз.

Небо потемнело. Или глаза закрылись — он не понял.

Одному было сорок один. Другому тридцать четыре. Один строил империю двадцать три года и боялся воды. Другой прожил на воде двадцать четыре года и не боялся ничего, кроме того, что знал.

Между ними было одиннадцать часовых поясов, два континента и ничего общего.

Шесть секунд темноты.

Потом — удар.

Глава 2. Чужое небо

Астрахань. Городская больница № 3.

Август 2002 года. День третий.

Первое, что он услышал, — разговор о том, стоит ли его убивать.

Два голоса за дверью палаты. Один частил, глотал окончания, переступал с ноги на ногу — подошвы скрипели по линолеуму при каждом переносе веса. Второй стоял ровно и говорил так, как говорят люди, привыкшие отдавать распоряжения в тесных помещениях.

— Надька говорит, очнулся почти. Михалыч сказал — узнать точно.

— Ну, очнулся. Голова у него отбита — может вообще ничего не помнит.

— А если помнит?

Четыре секунды тишины. Элиас считал автоматически. Эта привычка появилась в двадцать три года, в комнате над автомастерской в Кулякане, где он сидел напротив трёх человек и вычислял по паузам между словами, кто из них через минуту потянется к оружию. С тех пор он измерял молчание как хирург измеряет пульс — точно и без эмоций. Четыре секунды означали, что говоривший взвешивает варианты. Решение ещё не принято.

— Тогда Михалыч решит. Не мы.

Шаги вниз по лестнице. Один тяжелее другого килограммов на двадцать, но идут в ногу — значит, ходят вместе давно. Дверь этажом ниже хлопнула и отсекала звук.

Элиас выждал ещё полминуты. В Кулякане он всегда оставлял третьего — тихого, незаметного, прижавшегося к стене рядом с дверью, пока двое других уходили шумно и отвлекали внимание. Простой приём. Убийственно эффективный при правильном исполнении.

Третьего не оказалось.

Он открыл глаза.

Лампа дневного света над дверью умирала — мигала невпопад, заливая палату то мертвенной белизной, то полумраком. В промежутках между вспышками потолок выглядел серым и рыхлым, покрытым разводами старых протечек, похожими на карту неизвестного побережья. Четыре койки, три пустые с голыми полосатыми матрасами. Окно справа — небо за ним выцвело до молочной белизны, как фотография, которую слишком долго держали на солнце.

На тумбочке стояли стакан воды и три карамельки в бумажных фантиках.

Элиас повернул голову влево — терпимо. Повернул вправо — шея взорвалась от основания черепа до ключицы, и он на секунду потерял зрение. Боль была плотная, не пульсирующая, а постоянная, как давление воды на глубине. Гарпун входил справа. Тело помнило это, хотя он сам — не помнил.

Он посмотрел на руки.

Мозоли шли не там, где он привык их чувствовать. Его собственные руки — короткопалые, широкие, с татуировкой на запястье, о которой он жалел с двадцати пяти лет, — перестали существовать. Вместо них на казённом одеяле лежали длинные сухие ладони с задубевшей кожей в основании, на подушечках под средним и безымянным, на ребре указательного. Так выглядят руки человека, который всю жизнь тянет верёвки, ворочает вёсла и вяжет узлы. На большом пальце левой — белый шрам, старый, неровный, заживший без швов.

Элиас сел через боль, спустил ноги на линолеум. Ступни были длиннее и уже. Центр тяжести сместился — когда он встал, тело качнулось непривычно, как будто палуба под ногами изменила наклон.

Телевизор напротив — старый, кинескопный, выключенный — отражал в выпуклом тёмном экране фигуру, которая не была им.

Светлые волосы. Худое лицо с резкими скулами и мягким подбородком. Лет тридцать с небольшим. Из тех лиц, которые не умеют лгать — каждая мысль проходит по ним открыто,

как рябь по воде на мелководе. Элиас двадцать лет выстраивал лицо, которое не выдавало ничего — ни партнёру, ни врагу, ни агенту DEA, сидящему напротив в допросной. Лицо в телевизоре было полной противоположностью. Оно принадлежало человеку, который никогда не учился скрывать.

Четыре шага до двери. Он приоткрыл её на сантиметр, ровно настолько, чтобы увидеть коридор и не быть замеченным с поста. Медсестра — полная, в мятом халате — сидела за стойкой и писала, не поднимая головы. Направо — лестничная клетка, дверь с пружинным доводчиком. Налево — окно в конце коридора, второй этаж, значит три метра до земли, асфальт. Не вариант. Пока не вариант.

Он вернулся, лёг, закрыл глаза. Выровнял дыхание — восемь вдохов в минуту, ровных, глубоких, неотличимых от дыхания спящего человека.

Дверь открылась через двенадцать минут.

Лёгкие шаги. Запах, от которого тело отозвалось раньше, чем сознание успело его определить, — что-то тёплое, знакомое, живое. Не духи и не больничная хлорка. Так пахнет дом, в который возвращаешься каждый вечер. Тело знало этот запах. Тело помнило.

Остановилась у кровати. Секунда молчания.

— Тима. Ты опять притворяешься?

Элиас открыл глаза.

У неё были серые глаза, из тех, что меняют оттенок в зависимости от освещения, — сейчас, в мигающем свете умирающей лампы, они казались почти прозрачными. Тёмные волосы собраны наспех, несколько прядей выбились и лежали на щеке. Лицо — усталое настолько, что усталость перестала быть состоянием и стала чертой, как цвет глаз или форма скул. Трое суток без сна. Элиас видел такое лицо в зеркале достаточно раз, чтобы определять с точностью до двенадцати часов.

В руках она держала пластиковый контейнер с чем-то густым и тёмным, от которого шёл пар.

Жена Тимофея.

Это пришло не из головы — из тела, как пришёл запах секундой раньше. Руки на одеяле знали эту женщину. Знали, как она наклоняет голову, когда слушает. Знали, куда ложится её ладонь, когда она берёт его за руку, — на тыльную сторону, чуть ниже костяшек, всегда в одно место.

Надежда Малова. Тридцать один год. Учительница биологии.

Данные всплывали как со дна — без усилия, без логики, просто были.

— Да, — сказал он.

Голос был ниже и глуше, чем тот, которым он говорил сорок один год. Русское слово вышло без акцента, без запинки — горло и язык сработали сами, как срабатывают мышцы ног, когда человек падает и тело группируется без участия разума.

Надя выдохнула — длинно, прерывисто, как выдыхают люди, которые слишком долго задерживали дыхание. Поставила контейнер рядом с карамельками. Придвинула стул — пластиковый, с трещиной через всю спинку. Села. Взяла его руку — точно туда, на тыльную сторону, ниже костяшек — и сжала.

— Слава богу, Тим.

Элиас не убирал руку. За двадцать лет переговоров с людьми, каждый из которых мог в любую секунду достать оружие, он научился читать человека не по лицу — по рукам. Лицо контролируемо. Руки выдают всё. Надя сжимала его ладонь с силой, которая не соответствовала её сложению, и мелко, почти незаметно дрожала.

— Надя, — сказал он. Имя вышло само, из той же глубины, что и русский язык. — До тебя здесь были двое. Стояли за дверью, разговаривали.

Дрожь прекратилась. Пальцы не разжались, но что-то в них изменилось — стали жёстче, как будто Надя перехватила невидимый груз поудобнее.

— Какие двое.

— Мужчины. Один нервничал. Ты их видела?

— Нет. Я только пришла.

Она не спросила, о чём они говорили. Элиас отметил это и оценил. Учительница биологии из провинциального города, которая понимает: есть вопросы, ответы на которые меняют всё, и иногда лучше прожить ещё один день, не зная.

— Что случилось, — сказал он.

— Гарпун. — Слово прозвучало ровно, отполированно, как камень, который слишком долго носили в кармане. — Говорят, несчастный случай. Туман, не увидели. Ты был один на воде, потерял сознание в лодке. Палыч нашёл тебя через два часа.

Она рассказывала это не в первый раз. Может быть, в десятый. Врачам, следовательно, соседям, родственникам — одни и те же слова, в том же порядке, с тем же выражением лица. Слова вытерлись от повторения и больше не значили того, что значили.

— Сколько я здесь.

— Третий день.

— Кто такой Михалыч.

Молчание — другого качества, чем раньше. Не пауза. Стена. Короткая, но отчётливая.

— Откуда ты знаешь это имя.

— Те двое в коридоре. Один из них сказал.

Надя смотрела на него три секунды — ровно, не мигая. Потом отвела взгляд к окну, и Элиас увидел, как она принимает решение: не движение и не выражение, а что-то внутреннее, едва уловимое, как щелчок механизма за закрытой дверью.

— Михаил Андреевич Крутов. Старший в артели. Ты у него работаешь три года.

— Он звонил, пока я лежал?

— Два раза. Спрашивал, как ты.

Два звонка за три дня. Не каждый день — через день. Достаточно, чтобы быть в курсе. Недостаточно, чтобы это выглядело как участие. Элиас знал эту дистанцию изнутри, потому что сам выстраивал её годами — звонок нужному человеку, вопрос о здоровье, тёплая интонация, а за ней единственная реальная цель: контроль. Знать. Не помогать — знать.

В дверь стукнули — коротко, без ожидания ответа — и сразу вошёл врач. Мужчина за пятьдесят, с лицом, на котором усталость наслои́лась такими плотными пластами, что превратилась в рельеф. Халат застёгнут через пуговицу, в руке папка с бумагами, на которые он не смотрел, потому что и так знал что там написано.

Посветил фонариком в глаза — левый, правый. Проверил реакцию зрачков. Взял запястье, посчитал пульс, глядя на свои часы. Сделал пометку в папке ручкой, у которой заканчивались чернила.

— Три-четыре дня ещё, — сказал он Наде. — Потом посмотрим. Повезло вашему. Сантиметр правее — и разговора бы не было.

Произнёс это тем будничным тоном, которым врачи в таких больницах говорят о смерти — не потому что им всё равно, а потому что смерть здесь ходит по коридорам так же привычно, как санитарки с вёдрами.

Ушёл, не закрыв дверь до конца.

Элиас смотрел в потолок.

Три-четыре дня в этой палате. За это время нужно понять три вещи. Кто такой Тимофей Малов и что он видел на воде. Кто такой Михалыч и какое место он занимает в цепочке, которая привела гарпун в шею. И кто стоит наверху этой цепочки — тот, кто принимает решения о том, кому жить, а кому лежать на дне казанки с промышленным наконечником в позвоночнике.

— Надь, — сказал он. — Ляг поспи. Вон та койка свободная. Тебе нужно.

Она не ответила сразу. Смотрела на него — и в этом взгляде было что-то, чего Элиас не смог прочесть. За двадцать лет он научился разбирать человеческие лица как механизмы — страх, жадность, ложь, расчёт, все шестерёнки были ему знакомы. Это выражение не принадлежало ни к одной из известных ему категорий.

— Ты никогда так не говорил раньше, — произнесла она тихо.

Он промолчал. Нечего было сказать, не соврав.

Надя осталась в кресле. Руку не убрала. Через четверть часа её дыхание замедлилось и выровнялось — тело брало своё, вопреки всему, что происходило в голове. Она не уснула, но ушла в то пограничное пространство, где сознание отступает и перестаёт контролировать мышцы лица, и на нём проступает то, что человек прячет наяву.

Во сне — или в том, что было похоже на сон — она выглядела моложе. И страшнее. Потому что без усталости, без напряжения, без контроля на её лице осталось только одно: горе. Чистое, простое, безусловное горе.

Она уже знала, что потеряла мужа. Не умом — тем местом внутри, где знание не нуждается в доказательствах.

Элиас отвёл взгляд.

За окном проехал грузовик. Стёкла задребезжали и долго не могли успокоиться. Где-то этажом ниже засмеялась женщина — коротко, резко, и замолчала. Астрахань жила за стенами больницы своей медленной августовской жизнью, и этой жизни не было никакого дела до человека на втором этаже, который три дня назад умер и ещё не решил, что с этим делать.

Карамельки стояли на тумбочке. Кто-то купил их в ларьке у больничных ворот. Положил аккуратно, в ряд, фантиками вверх. Подумал: очнётся, увидит, может обрадуется.

Элиас Варгас прожил сорок один год. За эти годы ему присылали телохранителей, адвокатов, снайперов и однажды — голову конкурента в коробке из-под обуви. Карамельки к больничной койке ему не приносил никто и никогда.

Он убрал эту мысль. Не сейчас.

За мигающей лампой, за дрожащими стёклами, за молочным небом Астрахани — стоял вопрос, от ответа на который зависело всё остальное.

Тимофей Малов что-то знал. Что-то настолько важное, что за это платят гарпуном в тумане.

Элиас закрыл глаза.

Завтра он начнёт выяснять — что именно.

Глава 3. Человек от артели.

Астрахань. Городская больница № 3.

Август 2002 года. День пятый.

Элиас попросил Надю принести бумагу и ручку.

— Зачем? — спросила она.

— Врач сказал, полезно записывать что помню. После травмы.

Врач ничего подобного не говорил. Надя посмотрела на него с тем выражением, которое он уже начинал узнавать — спокойное, оценивающее, с тонкой полоской недоверия на дне. Учительница, двенадцать лет работы с подростками, которые врут ей ежедневно. Она умела отличать ложь от правды. Но она также умела решать, когда стоит на этом настаивать.

Принесла тетрадный листок в клетку и шариковую ручку с колпачком. Положила на тумбочку рядом с нетронутыми карамельками. Ничего не уточнила.

К пятому дню Элиас знал больницу лучше, чем большинство персонала.

Не по схеме — по ритму. Больница жила циклами, как любое учреждение, и каждый цикл имел слабые места, как любая система, построенная людьми, которые устали и перестали обращать внимание. Смена медсестёр — в восемь утра и восемь вечера, пересменок длится двадцать минут, в эти двадцать минут пост пуст. Охранник у главного входа — Володя, пятьдесят с лишним, бывший заводской вахтёр — уходил курить в двадцать два ноль-ноль к мусорным бакам за углом, и его не было от двенадцати до двадцати минут в зависимости от погоды. Запасной выход через подвал — дверь закрыта на задвижку изнутри, без замка. Пожарная лестница на торце здания — ржавая, но держит.

Всё это он собрал, не выходя из палаты. Просто слушал, считал шаги, запоминал интервалы между звуками. Двадцать три года в Синалоа приучили его к тому, что любое помещение — это набор входов, выходов и мёртвых зон, и человек, который не знает, где они, рано или поздно окажется в одной из них.

Сложнее было с памятью Тимофея.

Она не подчинялась. Приходила и уходила по собственным правилам — не потоком, а вспышками, внезапными и короткими, как зарницы над ночной рекой. Надя произнесла слово «артель» — и перед глазами на секунду встал берег: утро, туман, шесть или семь мужчин у лодок, кто-то смеётся, кто-то курит, один стоит в стороне и смотрит на реку. Лица были чёткие, имена — нет. Как фотография без подписи.

Запахи работали лучше слов. Надя разогрела еду в сестринской — и Элиас вдруг увидел маленькую кухню, клеёнка на столе, окно, за которым огород. Домашняя кухня. Их кухня. Тимофей сидит за столом, Надя стоит у плиты спиной, и что-то в этой картинке было настолько обыденным и при этом настолько наполненным, что Элиас физически почувствовал чужую тоску — тупую, ноющую, как зубная боль. Тоску по вещам, которые ещё не потеряны, но которые потеряешь, и ты это знаешь, и ничего не можешь сделать.

Тимофей знал, что его убьют. Не факт — ощущение. Он записывал в тетрадь то, что видел, не потому что имел план, а потому что не мог остановиться. Как человек, который нашёл опухоль и каждый день щупает её, зная, что от этого она не рассосётся.

Медсестра Люба оказалась подарком.

Крупная женщина лет тридцати пяти с усталым добрым лицом и абсолютной неспособностью молчать дольше одной минуты. Элиас завёл разговор о погоде — августовская жара, рыба не клюёт, как вообще здесь люди живут. Через две минуты он знал, что артель «Бахтемир» сдаёт рыбу на завод «Каспий-продукт», что заводом владеет «серьёзный человек с базы на берегу», что Михалыч работает с этим человеком давно и «у них там свои дела, но все работают, никто не жалуется». Люба произнесла это без тревоги — так говорят о вещах, которые

все знают и о которых никто не говорит вслух, потому что вслух не нужно, потому что и так понятно.

Элиас не стал спрашивать имя серьёзного человека с базы. Не нужно было. Имя уже было — оно пришло из глубины Тимофеевой памяти ещё на третий день, без контекста, без лица, просто набор звуков, нагруженный чем-то тяжёлым. Батурин.

Костин пришёл в половине третьего.

Элиас слышал его за двенадцать секунд до того, как открылась дверь. Тяжёлые шаги по коридору — не торопливые и не медленные, шаги человека, привыкшего к тому, что его слышат и расступаются. Остановился перед палатой. Три секунды неподвижности. Люди останавливаются перед дверью по двум причинам: либо собираются с мыслями, либо проверяют обстановку. И то и другое говорит о человеке больше, чем всё, что он скажет после того как войдёт.

Дверь открылась.

Лет сорока пяти. Широкоплечий, с короткой шеей и крупной головой, посаженной на тело так, как будто шея была необязательной деталью конструкции. Руки большие, но мозоли на них давно сошли — рабочее прошлое, нерабочее настоящее. Рубашка в клетку заправлена в брюки, ботинки чищены, хотя на улице пыль и чистить ботинки в Астрахани в августе — всё равно что полировать палубу в шторм. В левой руке пакет с яблоками. Правая свободна.

Под рубашкой на левом боку ткань лежала иначе, чем на правом. Чуть топорщилась, чуть натягивалась при движении. Большинство людей не заметили бы. Элиас замечал такие вещи с того возраста, когда от умения заметить зависело, доживёшь ли ты до следующего разговора.

Вооружён. Пришёл навестить больного с оружием под рубашкой.

— Тимоха! — Голос заполнил палату целиком — громкий, сердечный, с той избыточной теплотой, которая в Кульякане означала ровно одно: человек хочет, чтобы ты расслабился. — Ну слава богу. Вся артель переживала.

Улыбка появилась на полшага раньше, чем должна была, — ещё в дверях, до того как он увидел Элиаса. Заготовленная улыбка. Элиас видел тысячи таких и давно перестал им верить.

Костин поставил яблоки на тумбочку, придвинул стул, сел. Каждое движение было уверенным и точным — так садятся люди, умеющие занимать пространство, заполнять его собой, не оставляя другому места для манёвра.

Элиас смотрел и считал.

Костин посмотрел на его руки — раз. На лицо — не отводил глаз, постоянно, с той внимательностью, которая выдаёт не интерес, а поиск. Он что-то искал в лице Элиаса. Признаки памяти, признаки страха, признаки того, что человек на кровати знает больше, чем должен. На дверь Костин не посмотрел ни разу. Дверь его не беспокоила. Это значило одно: за дверью кто-то есть, и этот кто-то контролирует коридор.

Костин говорил про рыбу, про сезон, про артельные дела. Осётр не идёт — «будто чувствует», сказал он и засмеялся смехом, который не дошёл до глаз. Сазан есть, но мелкий. Михалыч решил перекинуть часть людей на другой рукав. Всё это было правильно, всё ложилось в нужные места, каждое слово работало как деталь декорации в спектакле, который ставился не для зрительного зала, а для одного человека на больничной койке.

— С долгом не торопись, — сказал Костин наконец, и голос стал на полтона ниже — перешёл от декорации к делу. — Михалыч передал: оклемаешься, выйдешь, разберёмся.

— Долг какой, — сказал Элиас. Ровно. Без выражения.

Костин замедлился. На секунду — не больше. Его правая рука, которая лежала на колене, чуть сместилась к бедру. Не к оружию — просто сместилась. Рефлекс человека, который услышал не тот ответ, которого ждал.

— Ну как какой. За снасти. Семь тысяч.

Элиас кивнул. Кивок человека, который вспомнил.

— Серёга, — сказал он.

— Чего?

— Ты ведь Серёга Костин. Из второй бригады.

— Ну да. — Настороженность мелькнула и ушла, как рыба под поверхность — видна секунду, потом глубина. — А что?

— Ничего. Голова после травмы — лица путаю. Имена помню, а лица нет.

Это была проверка. Простая, грубая, но в данных обстоятельствах достаточная. Элиас не знал, как выглядит Костин — знал только имя из памяти Тимофея и то немного, что рассказала Люба. Нужно было убедиться, что человек перед ним — тот, за кого себя выдаёт. Костин подтвердил. Это делало следующий ход возможным.

— И тех двоих из коридора запомнил, — сказал Элиас. — Которые в первый день приходили. Один высокий, второй в серой куртке. Ты их знаешь?

Описание было выдуманным. Элиас не видел тех двоих — только слышал. Но описание не имело значения. Значение имела реакция.

Костин не двигался. Улыбка исчезла полностью — не стёрлась постепенно, а выключилась, как свет в комнате. Он смотрел на Элиаса четыре секунды. Пять.

— Не знаю, про каких ты.

Пауза перед ответом. Секунда — может, полторы. Ровно столько, сколько нужно мозгу чтобы принять решение: правда или ложь. Костин выбрал ложь. Это само по себе было ответом.

— Понятно, — сказал Элиас. — Ладно.

Костин встал. Резче, чем собирался — это было видно по тому, как дёрнулся стул, как напряглась рубашка на левом боку. Человек, зашедший к больному на дружеский разговор, не встаёт так. Так встают, когда разговор пошёл не туда, и нужно уйти, пока не пошёл ещё дальше.

— Поправляйся. Выйдешь — заходи.

— Зайду, — сказал Элиас.

Костин вышел. Шаги по коридору были быстрее, чем при входе. Секунда — и к ним присоединились вторые, те, что ждали снаружи. Два комплекта шагов, в ногу, вниз по лестнице.

Элиас лежал неподвижно и разбирал разговор по частям, как разбирают оружие после стрельбы.

Костин знал тех двоих. Это — факт. Пауза перед отрицанием и характер отрицания не оставляли места для сомнений. Двое пришли от Михалыча, Костин — тоже от Михалыча, значит, все трое — одна цепочка. Михалыч контролирует ситуацию через своих людей, лично не появляется. Грамотно для человека его уровня.

Костин вооружён. Это — факт номер два. Человек приходит в больницу с оружием по одной из двух причин: либо он вооружён всегда и это привычка, либо он ожидает ситуации, в которой оружие понадобится. С учётом того, что он пришёл навестить рыбака с травмой головы, вторая причина интереснее.

За дверью палаты его ждали. Факт номер три. Костин не работает один. Он часть структуры, в которой естькрытие, координация и дисциплина. Артель из семи рыбаков так не работает. За артелью стоит что-то крупнее.

Элиас взял ручку и листок. Писал левой рукой — Тимофей был правшой, но правая после гарпуна слушалась плохо, и это было даже удобно: почерк выходил не Тимофеев, а значит, если кто-то найдёт записи, не сразу поймёт, чьи они.

Три слова в столбик: Михалыч. Костин. Двое.

Подумал. Добавил четвёртое — ниже, отдельно, с интервалом: Батурин.

Это имя пришло из Тимофеевой памяти ночью, между третьим и четвёртым днём, когда Элиас лежал без сна и слушал, как по коридору катят каталку. Имя всплыло само, без лица,

без контекста — просто звук, нагруженный чувством, которое было тяжелее страха. Тимофей не боялся Батурина. Он знал о нём что-то, и это знание лежало в нём, как камень в желудке, — не болит, но всё время чувствуешь.

Элиас провёл линию от «Михалыча» к «Батурину». Потом от «Костина» к «Михалычу». Стрелки вверх — кто кому подчиняется. Простая схема. Начало.

В Кульякане он начинал так же. Лист бумаги, три имени, две линии. Через два года на этом листе было семьдесят имён и схема, которая позволила ему за одну ночь перехватить контроль над коридором, который до него держали люди, считавшие себя непобедимыми.

Он сложил листок вчетверо и положил под матрас. Не под подушку — под матрас, в щель между матрасом и металлической рамой кровати, на расстоянии вытянутой руки от изголовья.

За окном садилось солнце. Августовское, астраханское — большое и медленное, опускающееся за крыши панельных пятиэтажек, окрашивая их в цвет, которому Элиас не знал названия на русском. В Синалоа такие закаты падали за горы и океан. Здесь они падали за бетон и реку.

Реку, которую он чувствовал даже отсюда. Не видел — чувствовал. Тело знало, что Волга в четырёх километрах к югу, как компас знает, где север. Тимофей прожил на этой реке тридцать четыре года, и его тело было откалибровано по ней, настроено на неё, как музыкальный инструмент настроен на тональность.

Элиас Варгас сорок один год боялся воды. В этом теле страх исчез. Вместо него была тяга — спокойная, постоянная, похожая на гравитацию.

Это пугало его больше, чем Костин с оружием под рубашкой.

Дверь палаты открылась. Надя вошла с контейнером, из которого пахло так, что тело на кровати отозвалось мгновенно — желудок, руки, всё потянулось к этому запаху, как к дому.

— Поешь, — сказала она. — Завтра переведут в общую.

Элиас взял контейнер. Борщ, густой, тёмно-красный, с островком сметаны посередине. Ложка — пластиковая, больничная.

Он ел и думал о Батурине. О человеке, чьё имя лежало в памяти Тимофея Малова как камень на дне реки — невидимое сверху, но меняющее течение.

Глава 4. Дом

Астрахань. Улица Речная.

Август 2002 года.

Выписали его в среду, на восьмой день.

Доктор пожал руку, вручил бумажку с рекомендациями, которые начинались словами «избегать физических нагрузок» и заканчивались «контрольный осмотр через две недели», и произнёс всё это тоном человека, который точно знает, что ни одна рекомендация выполнена не будет. Элиас кивал в нужных местах. Надя стояла рядом и собирала его вещи в полиэтиленовый пакет с надписью «Магнит» — брюки, ботинки, больничная рубашка взамен его собственной, которую разрезали ножницами в приёмном покое, когда он поступил.

На крыльце больницы он остановился.

Солнце ударило в лицо — плотное, августовское, по-астрахански беспощадное. Но не солнце его остановило. Запах. Река была в четырёх километрах, за жилыми кварталами, за промзоной, за железнодорожной веткой, но её запах добирался сюда — влажный, тёплый, с нотой тины и нагретого ила, живой в том смысле, в каком бывает живым только то, что растёт и гниёт одновременно. Элиас Варгас за сорок один год вздрагивал от близости воды. Тело Тимофея Малова отозвалось на этот запах иначе — плечи развернулись сами, грудная клетка раскрылась, и дыхание стало глубже и медленнее, как у человека, который после долгого отсутствия наконец вернулся туда, где ему положено быть.

Надя смотрела на него. Ничего не сказала.

Они ехали на маршрутке — старом «ПАЗике» с продавленными сиденьями, который трясся на каждой выбоине, а выбоин в Астрахани было столько, что тряска превращалась в постоянное состояние. Элиас смотрел в окно и запоминал город. Пятиэтажки, частный сектор, снова пятиэтажки, рынок, мечеть, поворот. Двадцать минут — и пятиэтажки кончились. Начались деревянные дома за деревянными заборами, пыльные улицы, в которых асфальт превращался в намерение, а потом в воспоминание.

Улица Речная была последней перед берегом.

Дом стоял за зелёным забором — вернее, за забором, который когда-то был зелёным. Краска выцвела и облупилась, оставив тот неопределённый серо-зелёный цвет, который бывает у вещей, с которыми долго жили и давно перестали заботиться о внешнем виде. Деревянный, одноэтажный, с верандой. Огород по правую сторону — добротный, ухоженный, Надин. Сарай в глубине двора — большой, с тяжёлым навесным замком. За домом, метрах в ста, угадывался берег — по блеску воды между деревьями, по тому, как менялся свет.

Надя открыла калитку.

— Вторая ступенька, — сказала она. — Осторожно.

Элиас перешагнул прогнувшуюся доску и вошёл в дом, в котором Тимофей Малов прожил шесть лет и из которого вышел в последний раз в резиновых тапках, не взяв сапоги.

Он изучил дом за двадцать минут, пока Надя переодевалась и гремела посудой на кухне.

Не как жилище — жилище его пока не интересовало. Как пространство: входы, выходы, слабые места, звуковой профиль. В Кульякане он делал это в каждом новом помещении автоматически, как другие люди осматриваются в поисках вешалки.

Входная дверь — замок врезной, советский, «Сириус», механизм на шести сувальдах. Вскрывается за сорок секунд отвёрткой и куском жести. Задняя дверь из кухни на огород — щеколда изнутри, петли ржавые, открывается с усилием. Окна: пять штук, все на шпингалетах, стёкла одинарные. Одно окно, в комнате со снастями, не закрывается — рама разбухла от влаги и перекосилась. Пол: половицы скрипят в коридоре у порога и под окном в спальне,

в остальных местах тихие. Погреб — люк в полу кухни, крышка тяжёлая, дубовая, петли не смазаны, при открывании издаёт протяжный скрип, слышный из любой точки дома.

Сарай он оставил на потом. Замок серьёзнее, чем на входной двери, — значит, внутри что-то, что Тимофеем берётся тщательнее, чем собственный дом. Ключ висел на гвозде за дверным косяком в сенях. Элиас отметил это и не стал открывать при Наде.

Комнату со снастями он осмотрел подробно.

Это была маленькая комната в конце коридора — три на четыре метра, без обоев, голые доски стен, запах смолы и старой верёвки. Вдоль стен — полки с рыболовным хозяйством: катушки лески, поводки, крючки в жестяных коробках, свинцовые грузила россыпью. Под потолком — связки сетей, подвешенные на толстых гвоздях. В углу, прислонённая к стене, — острога, полтора метра длиной, с тремя коваными зубьями, тяжёлая, сбалансированная так, что центр тяжести приходился на место хвата. Рабочий инструмент, не декорация.

На стене висели два гарпунных ружья.

Первое — пневматическое, РПБ, советского производства, шестидесятых годов. Потёртое, но ухоженное, смазанное, с целым уплотнительным кольцом. Рабочее.

Второе заставило Элиаса задержаться.

Самодельное. На резиновом бое — четыре тяги из хирургического жгута, направляющая из нержавеющей трубки, рукоятка вырезана из бука. Гарпун стальной, толщиной восемь миллиметров, с наконечником-трезубцем. Элиас снял его со стены, положил на ладони, почувствовал баланс. Ружьё было сделано человеком, который понимал, что делает. Тяги натягивались ровно, спусковой механизм ходил мягко, без люфта. Мощность — достаточная, чтобы пробить рыбу насквозь на расстоянии трёх метров под водой.

Или не рыбу.

Он повесил ружьё обратно.

Надя стояла в дверях. Он не слышал, как она подошла, — пол в коридоре не скрипел, и она двигалась тихо, как двигаются люди, привыкшие ходить по дому, не создавая лишнего шума.

— Зачем ты всё проверяешь, — сказала она.

Не спросила — произнесла утвердительно, как произносят вещи, ответ на которые уже знают, но хотят услышать, что скажет другой.

— После травмы. Хочу убедиться, что всё на месте.

— Ты никогда не снимал ружья со стены, — сказала Надя. — За шесть лет. Повесил и не трогал. Говорил, что для воды оно, не для дома.

Элиас промолчал. Любой ответ здесь был бы ложью, а он уже начинал понимать, что Надя различает его ложь быстрее, чем он успевает её конструировать.

Она ушла на кухню. Через минуту по дому поплыл запах, от которого тело Тимофея отозвалось прежде, чем Элиас успел его остановить, — острое, тянущее чувство в центре груди, не голод и не боль, а что-то среднее, что-то, у чего на испанском и на русском, наверное, были разные названия, но суть была одна: так реагирует тело на место, которое оно считает домом.

Половицу он нашёл через два часа.

Не случайно — целенаправленно. Тетрадь, о которой говорилось в памяти Тимофея, должна была быть где-то в доме. Человек, который четыре месяца записывает то, что может его убить, не носит записи с собой и не держит на виду. Он прячет. А прячет — в месте, к которому привык, которое проверяет регулярно, которое можно открыть быстро и закрыть бесшумно.

Элиас прошёл по дому медленно, наступая на каждую доску полной ступнёй. Половицы в коридоре скрипели. В спальне — две скрипели, остальные молчали. В комнате со снастями одна доска отозвалась иначе — не скрипом, а глухим коротким звуком, как будто под ней была пустота.

Он дождался, пока Надя начнёт мыть посуду, — вода в кране, звон тарелок, достаточно шума — опустился на колено и поддел доску кончиками пальцев. Поднялась легко, без усилия. Петель не было — просто доска, вырезанная чуть короче соседних, лежащая в пазу. Поднималась и опускалась десятки раз, пазы отполированы.

Под ней — ниша глубиной в ладонь. Фанерное дно, сухое, чистое.

Тетрадь лежала сверху. Обычная школьная тетрадь в клетку, сорок восемь листов, на обложке — нарисованный кораблик и надпись «Тетрадь для работ по математике». Из школы, из тех что Надя приносила пачками для учеников.

Под тетрадью — деньги, свёрнутые в плотную трубку и перетянутые аптечной резинкой. Элиас развернул, пересчитал быстро — двадцать две тысячи рублей. Пятисотки и сотни, мятые, бывшие в обращении. Не накопления — заначка. Деньги на случай, когда нужно будет уехать быстро.

На самом дне, завёрнутый в промасленную тряпку, лежал нож.

Элиас достал его, развернул. Нож с фиксированным клинком, длина лезвия — сто тридцать миллиметров, сталь хорошая, заточка грамотная, рукоять из наборной кожи. Не кухонный, не складной, не охотничий. Боевой. Из тех, что в магазинах продают под видом «туристических», и покупатели делают вид, что покупают их для леса, а продавцы делают вид, что верят.

Тимофей готовился. Деньги на бегство, нож на крайний случай, тетрадь — как страховка, как доказательство, как единственное оружие человека, у которого нет ни связей, ни власти, ни людей. Только знание.

Элиас открыл тетрадь.

Почерк мелкий, аккуратный, с ровными полями. Каждая запись начиналась с даты. Первая — двенадцатое апреля. Последняя — двадцатое августа, три дня до гарпуна. Четыре месяца, исписаны тридцать два листа из сорока восьми.

Тимофей писал как бывший морской пехотинец: время, место, ориентиры, количество, направление движения. Координат не было — вместо них привязки к местности, точные, узнаваемые для любого, кто знал эти рукава: «от старой вышки на восток, три километра, поворот у затопленного амбара», «напротив сгоревшего коровника, правый берег, отмель в сорока метрах от камышовой стены».

Байды упоминались в каждой второй записи. Всегда три, всегда ночью, всегда строем. Буква «Б-н» встречалась чаще любого другого обозначения. Иногда — с суммами рядом. Суммы были в долларах, и они были такими, что Элиас, прочитав первую, вернулся к ней и перечитал.

Сто двадцать тысяч. За одну ночь.

Он пролистал до последней записи. Одна строчка, без даты, написанная торопливее, чем остальные, — буквы крупнее, наклон резче, ручка давила сильнее.

«Видел лица. Они меня тоже».

Элиас закрыл тетрадь. Положил обратно. Деньги — обратно. Нож подержал в руке ещё секунду, потом завернул в тряпку и положил на дно. Опустил половицу. Встал.

На кухне Надя вытирала посуду. За окном соседский петух наконец замолчал. Косые полосы вечернего света лежали на полу комнаты, и в этих полосах кружилась мелкая пыль, золотая и невесомая, как будто дом дышал.

Тимофей Малов был рыбаком. Бывшим морпехом. Мужем. Он прожил в этом доме шесть лет, ловил рыбу, чинил мотор, ужинал на этой кухне, спал в этой спальне. И параллельно, в последние четыре месяца жизни, он вёл разведку — методичную, подробную, опасную — против человека, который контролировал реку, на которой Тимофей вырос.

Не потому что хотел денег. Не потому что хотел власти. А потому что видел, как уничтожают то, что он любил, и не мог заставить себя отвернуться.

Это было и мужественно, и глупо, и обречённо — всё одновременно.

— Суп готов, — позвала Надя.

— Иду, — сказал Элиас.

Он сел за стол. Надя поставила перед ним тарелку. Он ел и чувствовал, как тело благодарно принимает горячую еду, как расслабляются мышцы, которые были напряжены восемь дней, как что-то внутри — не его, Тимофеево — отпускает и успокаивается. Дома. Он дома.

Ночью Элиас лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок.

Потолок был деревянный — доска к доске, тёмные от времени, с сучками и трещинами. Один сучок, прямо над кроватью, был крупнее остальных и в темноте казался зрачком, который смотрит вниз с терпеливым вниманием.

Надя спала рядом. Наконец спала — по-настоящему, глубоко, так, как спят люди, которые добрались до безопасного места после долгого пути. Её дыхание было ровным и тихим, и Элиас не двигался, чтобы не нарушить эту тишину. Странное чувство — заботиться о сне женщины, которую знаешь восемь дней. Ещё более странное — понимать, что забота идёт не только от него, но и от тела, в котором он живёт. Тимофей заботился о Наде тридцать четыре года своей памятью, и эта память теперь была частью Элиаса, хотел он этого или нет.

Он перебирал тетрадь в голове, страницу за страницей.

Маршруты байд складывались в систему — не хаотичную, а продуманную, с ротацией, с изменением расписания, с запасными рукавами на случай, если основной перекрыт. Три главных коридора: Бахтемир, Кигач, Старая Волга. Хранилища — живорыбные садки в камышовых протоках, затопленные клетки из металлической сетки, где белуга и осётр могли жить неделями в проточной воде. Точки перегрузки на берегу — рефрижераторы, документы, накладные. Дальше — Москва. Дальше — Европа.

Элиас оценивал масштаб, и масштаб впечатлял. Не размахом — продуманностью. Тот, кто это построил, думал так, как думал сам Элиас двадцать лет назад, когда выстраивал коридор из Кульякана в Тихуану: каждый уровень защищён от следующего, каждый участник знает только свой кусок, целое видят двое или трое. Другой товар, другая страна, другие деньги — но логика та же. Человеческая жадность и человеческий страх устроены одинаково на любом континенте.

Картинка пришла без предупреждения.

Не сон — он не спал. Вспышка, яркая и чёткая, как фотография, поднесённая к глазам: узкий рукав, камышовые стены по обоим берегам, сарай на левом берегу, наполовину затопленный, крыша провалилась с правого угла, доски почернели от воды и времени. Рассвет. Туман над водой. Запах тины и гнилого дерева. Ощущение — не страх, не любопытство, а что-то третье. Тимофей знал это место. Тимофей бывал здесь.

Картинка продержалась секунд десять и погасла.

Элиас лежал в темноте и ждал, придёт ли ещё что-нибудь. Не пришло. Память Тимофея работала по своим законам — выдавала куски, когда хотела, и замолкала, когда хотела. Управлять этим было невозможно. Можно было только ждать и запоминать.

Сарай был настоящим. Рукав был настоящим. Элиас не знал, что там, но знал, что Тимофей ходил туда при жизни и что-то там видел. Что-то, что заставило его прижаться ко дну казанки и не дышать.

За окном лаяла собака — далеко, лениво, скорее по обязанности, чем по причине. Ветер шевелил тополь у забора, и его тень двигалась по занавеске, как маятник. Надя повернулась во сне, её рука легла ему на грудь — привычным движением, которое повторялось, наверное, тысячи ночей до этой. Тёплая, тяжёлая рука.

Элиас не убрал её.

На рассвете он поедет на реку. Найдёт сарай. Посмотрит, что Тимофей пытался ему показать.

Сучок в потолке смотрел вниз. Терпеливо, не мигая, как смотрит тот, кто никуда не торопится и у кого впереди — вечность.

Глава 5. Затопленный сарай

Волга. Рукав Бахтемир.

Август 2002 года. Рассвет.

Элиас вышел из дома в четыре тридцать, когда небо над Астраханью было ещё серым и неподвижным.

Надя спала. Он оделся в темноте — брюки, свитер, резиновые сапоги, те самые, которые стояли у порога слева, за ящиком с инструментом, и которые Тимофей не успел надеть в последнее утро. Сапоги сели на ногу точно, разношенные, мягкие, помнящие форму ступни своего владельца. Элиас вышел через заднюю дверь, обогнул дом, спустился к берегу.

Казанка стояла на приколе у деревянных мостков — алюминиевая, потрёпанная, с царапинами и вмятинами на бортах, каждая из которых была историей, которую Элиас не знал, но тело помнило. Мотор «Вихрь-25» на транце, старый, латаный, обмотанный в двух местах изолентой. Элиас проверил бензин — полбака. Достаточно.

Мотор он заводить не стал. Отвязал лодку, оттолкнулся от мостков и взял вёсла.

Тишина упала сразу — плотная, объёмная, заполнившая пространство между водой и небом, как жидкость заполняет сосуд. В Кульякане не бывало такой тишины. Даже ночью, даже в самый глухой час — далёкая сирена, гул шоссе, иногда выстрелы, к которым он привык настолько, что перестал их замечать, как перестают замечать тиканье часов. Здесь не было ничего. Только плеск воды, негромкий, ритмичный, и где-то в тумане — утка, подавшая голос и замолчавшая.

Тело гребло само. Руки знали угол погружения лопасти, знали момент, когда нужно развернуть кисть на обратном ходе, чтобы весло шло ребром и не тормозило лодку. Двадцать четыре года на воде — это не навык, это физиология, перестроенная до уровня рефлекса. Элиас отпустил контроль и позволил телу вести.

Туман на Бахтемире в августе — явление особое. Не дымка, не лёгкая пелена, а стена. Белая, непроницаемая, обрезающая мир в трёх метрах от лодки. Элиас шёл по рукаву, ориентируясь по звуку — камышовая стена справа шелестела ближе, значит, он держался правого берега. Течение здесь слабое, почти незаметное, но лодку сносило влево, и каждый третий гребок приходилось корректировать.

Он шёл двадцать минут. Потом рукав начал сужаться.

Камыши подступили с обеих сторон — высокие, в два человеческих роста, стоящие стеной, непроходимой с берега. Вода потемнела. Дно поднялось — весло стало цеплять ил на глубине полутора метров. Запах изменился: к речной свежести добавилось что-то затхлое, прелое, запах старого дерева, долго стоявшего в воде.

Сарай вышел из тумана медленно, как проявляется фотография.

Сначала — контур крыши, тёмная линия на фоне белизны. Потом стены — доски, почерневшие до цвета мокрого угля, покрытые зелёной слизью по ватерлинии. Правый угол крыши провалился внутрь, и через пролом было видно небо. Левая стена уходила в воду по нижний венец. Строение стояло на сваях, вбитых в илистое дно, — когда-то это был лодочный сарай, рыбацкий, старый, заброшенный десятилетия назад.

Элиас остановил казанку в десяти метрах и смотрел.

У левой стены, в тени, белела верёвка. Новая, капроновая — ярко-белая на фоне чёрного дерева, как мел на доске. Уходила в воду под углом, натянутая. К ней что-то привязано под поверхностью. Рядом, внутри сарая, в полумраке угадывался силуэт лодки, вытасченной на мелководье.

Чужая лодка. Новая верёвка. Заброшенный сарай, к которому нет ни подъезда, ни тропы.

Элиас подвёл казанку к правой стене — к той, где провалилась крыша. Здесь было светлее, и он мог видеть внутрь, оставаясь снаружи. Взялся за край оконного проёма — рама сгнила, но косяк держался — и заглянул.

Двое. Спали на дощатом помосте, сколоченном над водой на высоте полуметра. Спальные мешки, армейские, тёмно-зелёные. Два рюкзака у стены. Между рюкзаками, прислонённый к доске, стоял обрез — помповое ружьё с отпиленным стволом и прикладом, укороченное до размеров, позволяющих прятать его под курткой. Оружие людей, которые охраняют то, что не должно существовать.

Под помостом, в воде, — что-то большое. Тёмное, накрытое новым брезентом с люверсами по краям. Под брезентом что-то двигалось — медленно, мощно, с тяжёлыми всплесками. Живое. Крупное.

Элиас перебросил тело через подоконник.

Приземлился на помост мягко — колени согнуты, вес на носках, доски приняли его почти без звука. Тот, что спал на спине, — среднего роста, лет тридцати, небритый — открыл глаза. Зрачки расширились. Рот начал открываться. Элиас шагнул и ударил его основанием ладони в точку под ухом, где шея переходит в основание черепа. Коротко, без замаха. Голова motнулась, глаза закатились. Осел обратно в спальник, как кукла, из которой вынули руку.

Второй был крупнее. Намного крупнее — под сто килограммов, красное рыхлое лицо, тяжёлые плечи. Он проснулся от звука падения первого и среагировал не так, как реагирует человек, разбуженный посреди ночи, — среагировал мгновенно, по-рабочему. Рука метнулась к обреза.

Элиас оказался у ружья на полсекунды раньше. Перехватил ствол правой рукой — пальцы легли на сталь, холодную и скользкую от влаги. Потянул на себя.

Большой не отпустил. Вцепился обеими руками, поднялся из спальника, навалился массой. Они стояли над прогнившим настилом, и между досками чернела вода, и оба тянули ружьё, каждый к себе, — молча, без крика, только хрип дыхания и скрип дерева под ногами. Двадцать килограммов разницы в пользу большого, и разница эта ощущалась в каждом мускуле.

Элиас отпустил.

Без предупреждения, без замаха — просто разжал пальцы. Большой, тянувший ружьё из всех сил, полетел назад с ускорением собственного веса. Левая нога провалилась в щель между досками по колено, он рухнул на правое бедро, настил затрещал угрожающе. Обрез остался у него в руках, но руки были заняты — держали оружие и одновременно пытались удержать тело от падения в дыру.

Элиас шагнул и поставил ногу на ствол. Не на руки — на ствол. Придавил к доскам. Посмотрел сверху вниз.

Большой дышал тяжело и смотрел на Элиаса тем взглядом, который Элиас видел десятки раз у людей определённого склада — злость, смешанная с калькуляцией. Он не боялся. Он считал. Сколько весит противник, как стоит, куда сместится если дёрнуть, какие варианты остались.

— Ты кто такой, — сказал большой. Не вопрос — требование.

— Малов. Тимофей. Рыбачу здесь.

— Какого хрена тебе здесь надо.

— Это мой вопрос, — сказал Элиас.

Под помостом снова двинулось — тяжело, с плеском. Брезент натянулся и опал. Элиас не смотрел вниз. Не нужно было. Он уже понял, что находится под брезентом. Живорыбный садок. Металлическая клетка, затопленная под помостом, в которой стояла рыба — белуга, осётр или и то и другое. Живая. Ждущая перегрузки.

Точка хранения. Именно то, о чём писал Тимофей в тетради. Именно то, что стоило ему жизни.

— Вставай, — сказал Элиас. — Медленно.

Большой вытянул ногу из щели, поднялся. Обрез остался на досках под ногой Элиаса. Стоя, большой был на голову выше — и шире в полтора раза. Смотрел с тем выражением, которое появляется у людей, привыкших решать вопросы размером, когда размер не срабатывает.

— Уходи, Малов. — Голос стал тише, и это было хуже, чем крик. — Пока нормально говорю. Ты сюда не приходил. Ничего не видел.

— Понял, — сказал Элиас.

Он поднял ногу с обреза. Развернулся спиной к большому и пошёл к окну — не быстро и не медленно, ровным шагом человека, который знает, что в него не выстрелят.

Это был расчёт, не храбрость. Человек, который только что проиграл рукопашную, не стреляет в спину уходящему — не из благородства, а из прагматизма. Выстрел создаёт проблему, которая во много раз больше, чем проблема, которую он решает. Труп рыбака в сарае с браконьерской рыбой — это следствие, допросы, внимание, которого эти люди избегают любой ценой. Большой это понимал. Элиас прочитал это понимание в его глазах за секунду до того, как повернулся спиной.

Он вышел через окно, сел в казанку, взял вёсла. Туман закрылся за ним, как дверь.

Батурин узнал через два часа.

Телефон зазвонил, когда он заканчивал завтрак на веранде базы «Каспий-тур» — одноэтажного здания на берегу Волги, построенного им семь лет назад как рыболовная турбаза для московских клиентов. Фасад — вагонка, крашенная в благородный тёмно-коричневый. Причал для катеров. Баня. Четыре гостевых домика. Вывеска с логотипом — стилизованная рыба, прыгающая из воды. Всё легально, всё оформлено, всё платит налоги.

Реальный бизнес шёл не через парадный вход.

Батурин не любил, когда звонили во время еды. Люди, работавшие с ним больше года, знали это и не звонили. Колян работал пятый год. Если звонит — значит, случилось что-то, что не терпит до обеда.

Батурин отложил вилку. Промокнул губы салфеткой. Взял трубку.

— Говори.

Голос Коляна звучал так, как звучит голос крупного человека, которого только что уронили в его собственном доме. Сбивчиво, с паузами в неправильных местах, с теми обертонами уязвлённой гордости, которые для опытного уха говорят больше, чем слова.

Батурин слушал две минуты, не перебивая. Это было его правило — выработанное за годы руководства людьми, которые при перебивании начинают путаться, перескакивать и упускать детали. Детали решают всё. Он научился этому не из книг — из опыта, из тех лет, когда сам работал инспектором рыбоохраны и допрашивал браконьеров, и лучшие допросы были те, в которых он не говорил ничего.

Когда Колян замолчал, Батурин несколько секунд смотрел на Волгу за окном.

Река лежала в утреннем свете — широкая, спокойная, перламутровая. Он построил базу на этом месте не из практических соображений — из личных. Каждое утро он садился за этот стол, пил кофе и смотрел на Волгу, и в этом ритуале было что-то, чего он никому не объяснял и не собирался объяснять. Река была его. Не по документам — по праву человека, который понял её, освоил, подчинил.

— Малов, — сказал он.

— Да.

— Который неделю назад лежал с гарпуном в шее.

— Выписали его, Сергей Викторович. А он...

— Я слышал, что он. — Батурин произнёс это ровно. Без повышения голоса, без нажима — тем тоном, который люди, давно работавшие с ним, боялись больше крика. Крик означал раздражение. Ровный голос означал, что Батурин думает. А когда он думал — решения, которые из этого рождались, бывали такими, что люди предпочли бы крик. — Один пришёл?

— Один.

— На казанке?

— На казанке.

Батурин замолчал. Яичница на тарелке остыла. Кофе остыл. Он не замечал.

Тимофей Малов. Тридцать четыре года. Рыбак. Артель «Бахтемир». Женат, бездетный. Служил в морской пехоте, Каспийская флотилия, конец восьмидесятых. Никаких судимостей, никаких связей, никаких долгов, кроме семи тысяч артельных за снасти. Обычный человек на обычной реке. Костин доложил о нём в июне: видел лишнее на протоке, может стать проблемой. Батурин решил проблему стандартно. Гарпун в тумане, несчастный случай, дело закрыто. Чисто. Привычно.

Малов выжил. Это случается. Человеческое тело иногда выживает вопреки всем расчётам — Батурин знал это из собственного опыта, он сам однажды выжил после того, как перевернулся на катере в ноябрьской Волге и провёл в четырёхградусной воде одиннадцать минут.

Но Малов, который выжил, — и Малов, который на девятый день после гарпуна в одиночку нашёл законспирированную точку хранения и вырубил Коляна — сто два килограмма, бывший армейский рукопашник — голыми руками в полутёмном сарае, — это были два разных человека.

Рыбаки так не работают. Бывшие морпехи — может быть. Но бывший морпех, который четырнадцать лет ловил леща и ни разу за эти годы не дал повода даже для подозрения, не просыпается после травмы с навыками, которых у него не было.

— Денис, — сказал Батурин, не поворачиваясь от окна.

Денис Волков отделился от стены — бесшумно, без лишних движений. Шрам на левой руке, от запястья до локтя, белел на загорелой коже. Он стоял у стены с того момента, как Батурин сел завтракать, и будет стоять, пока Батурин не уйдёт. Семь лет. Ни одного дня пропуска. Ни одной жалобы. Ни одного вопроса, который Батурин не хотел бы слышать.

— Малова не трогать. Наблюдать. Каждый шаг, каждый контакт. С кем встречается, куда ходит, о чём говорит. Мне нужно понять, кто он.

— Понял.

— И Костина ко мне. Сегодня.

Денис вышел. Батурин остался у окна.

На реке прошёл буксир — старый, ржавый, с чёрным дымом из трубы. Волна от него дошла до берега и тихо плеснула о сваи причала.

Малов нашёл точку. Одну из шести. Нашёл в первый же выход на воду после выписки — значит, знал, куда ехать. Значит, либо кто-то сказал, либо знал раньше, до гарпуна. Если знал раньше — почему молчал? Если сказали — кто?

Батурин строил свою систему семь лет. За эти годы у него были проблемы — рыбоохрана, конкуренты, один раз федеральная проверка, которую удалось погасить через нужных людей в области. Все проблемы были понятными, с понятными участниками и понятными решениями.

Малов был непонятным. И это беспокоило Батурина больше, чем всё остальное.

Потому что понятные проблемы решаются. Непонятные — разрастаются.

Глава 6. Палыч

Астрахань. Посёлок Трусово.

Август 2002 года. Утро.

Игорь Павлович Ермаков жил там, где кончался асфальт.

Улица Портовая упиралась в пустырь, пустырь переходил в две колеи, продавленные в глине, колеи — в берег, пологий, песчаный, заросший по краям ивняком. На берегу стоял дом — три окна, шиферная крыша, стены из бруса, посеревшего до цвета речного камня. Огород, обнесённый сеткой-рабицей. Лодочный сарай у воды с тяжёлым замком на двери. Мостки, уходящие в Волгу на четыре метра, — сколоченные из лиственницы, которая не гниёт, а каменеет, и потому мостки эти стояли уже тридцать лет и простоят ещё столько же.

Палыч сидел на конце мостков, свесив ноги над водой.

Элиас шёл к нему по доскам, и доски скрипели под каждым шагом, но старик не обернулся. Удочка лежала поперёк колен — длинная, бамбуковая, из тех, которые перестали делать лет двадцать назад. Поплавок стоял в воде неподвижно, как вбитый гвоздь.

— Садись, — сказал Палыч, не поворачивая головы. — Только не заслоняй.

Элиас сел рядом, на край мостков. Доски были тёплые — солнце грело с шести утра, а было уже около девяти. Волга внизу шла медленно, августовская, обмелевшая, с обнажившимися по берегам полосами песка, которые через месяц снова уйдут под воду.

Палычу было за семьдесят. Элиас оценил его в первые три секунды — не как старика, а как человека, с которым придётся работать. Сухой, жилистый, без той рыхлости, которая приходит с возрастом к людям, проводящим дни в неподвижности. Палыч не проводил дни в неподвижности — его руки, большие, с кожей, задубевшей до состояния дублёной замши, были руками человека, который работает ими каждый день. Плечи — ровные, не ссутуленные. Спина прямая. Он сидел на мостках так, как сидит человек, которому привычно его тело и который не собирается его щадить.

Элиас смотрел на него и пытался прочесть то, что привык читать в людях за двадцать лет. Не получалось. Палыч не был закрытым — у закрытых людей стена на лице, и стена сама по себе говорит о многом. Здесь стены не было. Было что-то другое — пустота в том месте, где у большинства людей живёт главное: цель, страх, желание, злость. У Палыча это место было выжжено. Там ничего не росло, и ничего не пряталось, и именно поэтому его было так трудно прочесть — нечего читать.

Так выглядят люди, у которых отняли что-то, чего нельзя вернуть, и которые перестали ждать возврата, но не перестали помнить.

— Пришёл благодарить, — сказал Элиас.

— Знаю.

— И?

— Ничего «и». Нашёл тебя, привёз, позвонил. Что ещё делать было.

Он говорил коротко, без интонации, тем голосом, каким разговаривают люди, давно живущие одни. Не грубость — экономия. Слова стоят усилия, и человек, которому не с кем разговаривать годами, перестаёт тратить их впустую.

Они помолчали. Волга несла мимо них мелкий мусор — ветки, пучок травы, пластиковую бутылку, которая крутилась в слабом водовороте у свай и никак не могла вырваться. Где-то за камышами тарахтел мотор — маленький, слабый, рыбацкий.

— Расскажи мне про тот день, — сказал Элиас. — Как нашёл.

Палыч чуть повернул голову, но не к нему — в сторону, к левому берегу, как будто то утро осталось где-то там, в тумане, который давно рассеялся.

— Вышел в пять. Пошёл через Бахтемир, как всегда. Туман стоял густой, я шёл по звуку — мотор на холостых, слушал берег. Увидел твою казанку — стоит, не движется, вёсла в воде. Подошёл. Ты лежал на дне, на спине. Крови на дне было много, но уже не текла — значит, давно лежишь. Гарпун торчал из шеи.

Он помолчал. Потянул леску — проверил натяжение, поплавок не шевельнулся.

— Вытащил гарпун. Перевязал рубашкой — своей, снял и перетянул, как мог. Отвёз к причалу в Трусово. Позвонил из автомата, скорая приехала через сорок минут. Вот и весь сказ.

— Гарпун сохранил?

Пауза. Не длинная — секунда, может полторы. Но она была, и Элиас её отметил.

— Выбросил.

— Почему?

Палыч наконец посмотрел на него — прямо, без уклонения. Глаза выпцветшие, светлые до прозрачности, из тех, что бывают у людей, проживших всю жизнь на воде, под открытым небом, на ветру и солнце. Глаза, которым уже нечего терять от честности.

— Потому что гарпун был промышленный. Кованый наконечник, хромированное древко, заводская заточка. Такими быют белугу с байды на ходу — штучная работа, дорогая. С таким не ходят на случайную охоту и не стреляют по ошибке в тумане. — Он отвернулся обратно к воде. — Отдать следователю — значит, начнётся разговор. А разговор в этом городе с такими вещами заканчивается одинаково. Себе оставлять — незачем. Выбросил в воду. Пусть река держит.

— Ты знаешь, кто это сделал.

Элиас не спрашивал. Утверждал.

— Догадываюсь, — сказал Палыч.

— Скажи.

Старик молчал долго. Поплавок качнулся — рыба прошла внизу, тронула наживку и не взяла. Палыч не дёрнул удочку. Ждал. В рыбалке, как в допросе, побеждает тот, у кого больше терпения.

— Батурин, — произнёс он наконец. Без выражения. Так называют очевидное — погоду, время года, название улицы. — Сергей Батурин. Ты что-то видел на воде или что-то узнал — а он решает такие вопросы одним способом. Быстро. Тихо. Несчастный случай.

— Ты его знаешь.

— Все его знают. — Что-то в голосе Палыча изменилось — едва, на четверть тона, как меняется звук воды, когда под поверхностью проходит что-то большое. — Большинство делает вид, что не знает. Так проще. Так безопаснее. Так в этом городе заведено.

Элиас ждал. Не торопил, не задавал вопросов. В Кульякане он научился ждать так же, как Палыч научился ждать рыбу, — молча, неподвижно, с абсолютной уверенностью в том, что нужное придёт само, если не спугнуть.

Палыч заговорил через минуту. Сам.

— У меня был сын. Антон. — Голос не дрогнул. Голос, который произносил это имя, давно выработал иммунитет к собственной боли. — Двадцать два года. Рыбак, как я, как дед, как все в нашей семье до него. Шесть лет назад его нашли на протоке возле Камызяка. Лодка перевернута, сам в воде, утонул. Несчастный случай.

Последние два слова он произнёс точно так же, как Надя произносила их про гарпун — ровно, отполированно, выхолощено. Слова, которые повторяли так часто, что они перестали быть словами и стали просто звуком.

— Антон видел что-то на воде, — продолжал Палыч. — Точку, где Батурин держал живую рыбу. Садки в камышах — белуга, осётр, в клетках под водой. Нашёл случайно, по глупости молодой — полез рыбачить ночью туда, куда нормальные люди ночью не ходят. Расска-

зал мне. Я сказал ему молчать. Он послушал. Но кто-то видел его лодку в том месте, и этого хватило.

— Ты ходил в полицию.

— Ходил. — Палыч усмехнулся — единственный раз за весь разговор, и усмешка эта была из тех, от которых в комнате становится холоднее. — Мне объяснили вежливо и подробно. Дело закрыто. Несчастный случай. Антон употреблял алкоголь — неправда, но в протоколе написали. Лодка была в неисправном состоянии — неправда, но в акте указали. Убитый горем отец ищет виноватых, это понятно, но не следует, и так далее. А у Батурина — завод, налоги, рабочие места, документы, всё в порядке, уважаемый человек.

— А неофициально.

— Неофициально у него девять байд в трёх бригадах. Каждая байда — десять метров, три мотора «Ямаха», семьсот пятьдесят лошадей. Сорок человек работают посменно, выходят ночью, возвращаются к рассвету. Бьют белугу, осётра, севрюгу. Живую держат в садках, мёртвую пускают на икру. Всё уходит в Москву рефрижераторами, оттуда часть — в Европу. — Палыч говорил ровно, без запинки, как человек, который повторял эти цифры в голове тысячу раз, ожидая момента, когда кто-нибудь наконец спросит. — Рыбоохрана молчит, потому что начальник районного отдела получает от Батурина ежемесячно. Администрация молчит, потому что заместитель главы — его человек. В областном УВД двое, которые обеспечивают, что никакое дело не доходит дальше определённого уровня.

— Не все в кармане.

— Не все. Но те, кто не в кармане, — те умные. Молчат.

Элиас смотрел на воду. Волга под мостками была тёмно-зелёной, густой, непрозрачной — августовская вода, нагретая и напитанная жизнью, в которой каждый кубический метр содержал сотни организмов, невидимых с поверхности.

— Палыч. Место, которое нашёл Антон, — ты знаешь, где оно?

Старик молчал дольше, чем прежде. Поплавок стоял в воде неподвижно. Ветер стих, и в наступившей тишине было слышно, как за камышами плеснула рыба — один раз, сильно, и снова тишина.

— Знал. — Он покачал головой. — Шесть лет прошло. Они могли перенести.

— Или не перенести. Хорошее место не меняют без причины. Каждый переезд — это новые люди, новые договорённости, новый риск. Проще оставить.

Палыч посмотрел на него — дольше, внимательнее, чем до этого. Элиас видел, как в выцветших глазах старика что-то движется — медленно, осторожно, как рыба, которая подходит к наживке и решает, стоит ли брать.

— Ты не благодарить пришёл, — сказал Палыч.

— Нет.

— Зачем.

Элиас промолчал секунду. За двадцать три года в Синалоа он выработал правило, которое не нарушал ни разу: никогда не открывайся первым. Тот, кто показывает карты до того, как увидит чужие, проигрывает. Это работало безотказно — с партнёрами, конкурентами, федералами, с людьми любого калибра и любой степени опасности.

Здесь правило не работало.

Перед ним сидел человек, которого нельзя было купить деньгами, потому что деньги ему были не нужны. Нельзя было мотивировать страхом, потому что самое страшное уже случилось. Нельзя было заинтересовать выгодой, потому что единственное, что его интересовало, лежало на дне протоки возле Камызяка уже шесть лет.

Таких людей в Кульякане вербовали одним способом. Одним словом.

Правда.

— Я собираюсь уничтожить Батурину бизнес, — сказал Элиас. — Мне нужен человек, который знает дельту лучше, чем карта. Каждый рукав, каждую протоку, каждую отмель. Где мелко, где глубоко, где камыши стоят так, что байда пройдёт, а катер сядет. Ты — лучший из тех, кого я могу найти.

Тишина. Длинная, полная. Поплавок не двигался. Ветер не шевелился. Волга текла, и в тишине было слышно, как она трётся о сваи мостков — негромко, ровно, как дыхание спящего.

— Сломать бизнес, — повторил Палыч. Не вопросительно. Примерял слова, пробовал их на вес.

— Да.

— Это опасно.

— Да.

— Антон тоже думал, что справится.

— Антону было двадцать два. Он был один. И он не знал, во что ввязывается.

— А ты знаешь?

— Я знаю, — сказал Элиас. И в этих двух словах было столько, что Палыч, наверное, услышал не только их, но и то, что стояло за ними — двадцать три года по другую сторону таких же систем, в другой стране, с другими лицами, но с той же самой логикой.

Палыч снял удочку с колен. Смотал леску, вытащил крючок с нетронутой наживкой, аккуратно воткнул его в пробку, примотанную к удилищу изолентой. Встал — медленно, но без того старческого кряхтения, которое бывает скорее привычкой, чем необходимостью. Посмотрел на Элиаса сверху.

— Тима, — сказал он. Впервые за разговор назвал по имени. — Я тебя двадцать лет знаю. С тех пор, как ты пацаном на отцовской лодке ходил. Ты изменился. После больницы. Похож на себя и не похож.

Элиас промолчал. Любой ответ здесь был бы неправдой, а врать этому человеку не хотелось, и это само по себе было странно — за сорок один год Элиас не встречал никого, кому не хотелось бы соврать при необходимости.

— Не моё дело, — сказал Палыч. — Приходи завтра утром. Покажу на карте, что помню. Карта старая, но река меняется не так быстро, как люди.

Он пошёл по мосткам к берегу — медленно, ставя ногу на каждую доску, как ставит человек, которому не нужно торопиться, потому что всё, к чему он торопился, уже произошло.

— Палыч, — сказал Элиас.

Старик остановился. Не обернулся.

— Спасибо. Что вытащил тогда.

Палыч стоял секунду, две. Волга плескала о сваи.

— Антона никто не вытащил, — сказал он. И пошёл дальше.

Корнеев получил рапорт в четыре часа дня.

Кабинет в управлении ФСБ по Астраханской области был маленький — стол, два стула, шкаф с папками, окно, выходящее на внутренний двор, в котором не было ничего, кроме асфальта и трёх тополей, уже начинавших желтеть. Кондиционер сломался в июле, и с тех пор никто не приходил его чинить. Корнеев не жаловался. За год в Астрахани он понял, что жалобы здесь работают примерно так же, как дождь в пустыне, — случаются, но ничего не меняют.

Рапорт написал лейтенант Серёгин — двадцать шесть лет, выпускник академии, исполнительный, аккуратный, пока без того чутья, которое приходит только с опытом и которому нельзя научить. Текст стандартный: объект Малов Т.В., тридцать четыре года, рыбак, выписан из больницы, проживает по адресу улица Речная. Четверг, пять ноль-ноль — вышел на лодке, рукав Бахтемир, вернулся в восемь сорок. Пятница, девять утра — пешком в посёлок Трусово,

провёл два часа у гражданина Ермакова И.П., семьдесят два года, пенсионер, бывший рыбак. Вернулся домой, вечером не выходил.

Корнеев прочитал рапорт. Отложил. Прочитал ещё раз.

Потом открыл нижний ящик стола и достал карту. Бумажную, крупномасштабную, сложенную вчетверо и потёртую на сгибах — он работал с ней два года, и за два года она обросла пометками, как дерево обрастает мхом. Красные точки — предполагаемые точки хранения. Синие линии — маршруты байд, восстановленные по обрывкам информации, показаниям случайных свидетелей, которые ничего не видели и не слышали, но проговаривались о мелочах, из которых Корнеев, как из мозаики, складывал картину. Зелёные кружки — люди Батурина, подтверждённые и предполагаемые.

Бахтемир. Корнеев нашёл рукав на карте и провёл пальцем вдоль русла. Малов вышел в пять утра и вернулся в восемь сорок. Три часа сорок минут. Казанка с «Вихрем-25» — скорость на глиссировании около тридцати километров в час, на вёслах — четыре-пять. Если шёл на вёслах, как делают те, кто не хочет быть услышанным, — радиус поиска сужается. Если шёл к конкретному месту и провёл там время — сужается ещё больше.

Точка, в которую Малов мог попасть за это время, совпадала с квадратом, который Корнеев восемь месяцев назад обвёл на карте красным пунктиром и подписал вопросительным знаком. Предположение. Расчёт на основании перехвата одного телефонного разговора, в котором человек Батурина обмолвился о «сараях на Бахтемире» и тут же поправился — «на Старой Волге», как будто оговорился.

Люди не оговариваются. Люди говорят правду, а потом поправляются.

Ермаков. Корнеев открыл базу данных на компьютере — старом, медленном, с монитором, который гудел как трансформатор. Игорь Павлович Ермаков, 1930 года рождения, посёлок Трусово. Без судимостей. Вдовец. Один сын — Ермаков Антон Игоревич, 1974 года рождения, умер в 1996-м, утонул. Несчастный случай.

Корнеев откинулся на стуле.

Утонул. Несчастный случай. Бахтемир.

Малов. Гарпун. Несчастный случай. Бахтемир.

Два «несчастливых случая» на одном рукаве с интервалом в шесть лет. Первый — сын человека, которого Малов навещает сразу после выписки из больницы. Совпадение возможно. Возможно, но маловероятно. А в работе Корнеева маловероятное совпадение — это почти всегда закономерность, которую просто не успели доказать.

Он открыл новую папку. На обложке написал: «Малов Т.В.» Под именем — двумя размерами мельче, для себя: «не рыбак».

Взял телефон. Набрал Серёгина.

— Наблюдение за Маловым — ежедневно. Все контакты, все маршруты, время выхода и возврата.

— Понял, товарищ майор.

— И Серёгин.

— Да.

— Ненавязчиво. Этот человек умеет смотреть по сторонам.

Корнеев положил трубку. Посмотрел на карту, на красный пунктирный квадрат на Бахтемире, на свежую пометку карандашом — «Малов, 22.08, 05:00–08:40».

За два года работы над делом Батурина у него не было ни одного свидетеля, готового говорить. Ни одного документа, добытого не с поверхности, а изнутри. Схема, которую он выстроил, была красивой и подробной и абсолютно бесполезной в суде без прямых доказательств.

Корнееву нужен был человек внутри. Не агент — внедрение требовало месяцев подготовки и санкции из Москвы, которую никто не даст ради браконьерского дела в провинции.

Нужен был человек, который уже там, уже знает, и у которого есть причина — личная, сильная, необратимая — чтобы заговорить.

Малов подходил по всем параметрам.

Вопрос был в том, что именно Малов собирается делать с тем, что знает. Пойдёт в полицию — бесполезно, Батурин закроет. Пойдёт к журналистам — опасно для Малова и бессмысленно для дела. Попытается шантажировать — глупо и смертельно.

Или сделает что-то, чего Корнеев пока не может предугадать.

Последний вариант был самым интересным. И самым тревожным.

Глава 7. Артель

Астрахань. Рыболовецкая артель «Бахтемир».

Август 2002 года.

Артель стояла на берегу в том месте, где Трусово заканчивалось и начиналась Волга — без перехода, без набережной, без парапета. Просто дома, потом забор, потом песок, потом вода. Три сарая из шлакоблока, причал из бетонных плит, положенных на сваи, навес для разделки рыбы — дощатый, с жестяной крышей, под которой пахло так густо и тяжело, что новичков, пришедших в артель впервые, иногда выворачивало прямо у разделочного стола.

Элиас пришёл в половине девятого, когда артельные уже вернулись с ночного лова.

На причале работали шестеро. Двое разгружали ящики с рыбой — серебристый частик, сазан, немного судака. Один чинил сеть на растяжке между двумя столбами, двигая руками с той бездумной точностью, которая приходит после тысяч часов одного и того же движения. Ещё один спал прямо на мостках, подложив под голову спасательный жилет, и никто его не будил — видимо, заслужил. Двое курили у сарая, привалившись к стене.

Его заметили сразу. Несколько кивков — привычных, без избыточного интереса. Тима вернулся. Тима живой. Нормально. Никто не подошёл с вопросами, никто не похлопал по плечу. На этом причале люди привыкли к тому, что другие люди то появляются, то исчезают, и единственное, что имеет значение, — пришёл ты работать или пришёл болтать.

Михалыч был в дальнем сарае.

Элиас знал о нём из нескольких источников. Тимофеева память выдавала обрывки: крупная фигура за верстаком, голос, который не повышается, но от которого люди замолкают, запах машинного масла. Тетрадь давала больше — имя Михалыча встречалось трижды, всегда рядом с цифрами, которые не вписывались в артельную бухгалтерию. Люба в больнице добавила контекст: Михалыч работает с «серьёзным человеком с базы», и у артели никогда нет проблем с лицензиями.

Из этого складывалась картина, знакомая Элиасу до мельчайших деталей. Михалыч не был частью батуринской системы. Он был смазкой. Человеком, который обеспечивает тихое сосуществование легального и нелегального, получая за это не деньги — услуги. Лицензии без очереди, рыбоохрана, которая проходит мимо в нужные дни, закрытые глаза на мелкие нарушения в документах. Услуги ценнее денег, потому что деньги заканчиваются, а зависимость — нет.

В сарае было сумрачно и тесно. Пахло машинным маслом, опилками и нагретым металлом. Михалыч стоял над верстаком, на котором лежал разобранный «Вихрь» — карбюратор снят, поршневая группа разложена на промасленной ветоши, блок цилиндров зажат в тисках. Работал без рубашки, в рабочих штанах, заляпанных маслом. Руки по локоть чёрные.

Когда Элиас вошёл, Михалыч не обернулся. Докрутил болт — размеренно, без спешки, — вытер руки ветошью с той основательностью, с которой вытирают руки люди, привыкшие к тому, что грязь — это часть работы, а не помеха. Только потом повернулся.

Крупный. Тяжёлое лицо с глубокими складками от носа к углам рта — лицо, которое жизнь формовала долго, без сантиментов и без спешки. Не злое — жёсткое. В этой разнице был весь Михалыч: злые люди непредсказуемы, жёсткие — наоборот, и именно поэтому с ними можно работать. Смотрел на Элиаса прямо, без улыбки. В отличие от Костина, который улыбался заранее и не к месту, Михалыч не тратил мимику впустую.

— Тима. Встал, значит.

— Встал.

— Садись.

Элиас сел на табурет у верстака. Михалыч остался стоять. Не намеренно — просто так он разговаривал всегда: стоя, над собеседником, с высоты своего роста и своего положения. Привычка настолько глубокая, что сам он, скорее всего, давно перестал её осознавать. Элиас видел десятки таких людей — в Синалоа, в Тихуане, в Мехико. Людей, которым нужно физически находиться выше, чтобы чувствовать себя уверенно. Это делало их предсказуемыми. А предсказуемость — это рычаг.

— Как голова? — спросил Михалыч.

— Нормально.

— Следовательно дело закрыл. Несчастный случай.

— Слышал.

— Значит, всё. — Михалыч взял чистую ветошь и начал протирать болт, который и так был чистым. Руки двигались — бессмысленно, привычно. Так бывает, когда человеку нужно занять руки, чтобы голова могла работать. — Бывает на реке. Главное — выжил.

— Главное — выжил, — согласился Элиас.

Тишина. Михалыч полировал болт. Элиас смотрел на разобранный мотор — поршни лежали на ветоши двумя блестящими цилиндрами, карбюратор рядом, частично разобранный, с забитыми жиклёрами. Старый мотор, на ладан дышит. Артель работала на технике, которая должна была уйти на свалку пять лет назад.

— Костин сказал, у меня долг перед артелью. Семь тысяч за снасти.

— Есть такое.

— Я закрою. Но сначала хочу понять одну вещь.

Михалыч поднял взгляд — спокойно, без резкости.

— Какую вещь.

— Артель работает по лицензиям?

— Конечно. Всё законно.

— Полностью? — Элиас произнёс это с интонацией, которую отрабатывал двадцать лет: ровной, нейтральной, лишённой нажима настолько, что сам этот нейтралитет становился давлением. — Квоты, журналы улова, отчётность — всё сходится?

Михалыч положил болт на верстак. Медленно, аккуратно, как кладут предмет, когда освобождают руки для чего-то другого.

— Ты к чему.

— Ни к чему. Месяц не работал, хочу понять обстановку.

— Обстановка такая же, как была, — сказал Михалыч, и в его голосе появилось предупреждение. Не громкость, не злость — тональность. Как будто кто-то повернул ручку на пол-оборота, и звук стал плотнее, тяжелее. — Ты работал здесь три года. Ничего не изменилось.

— Хорошо, — кивнул Элиас. — Значит, квоты в порядке.

— В порядке.

— И рыбоохрана без вопросов.

— Без вопросов.

— Повезло. — Элиас помолчал секунду — ровно столько, чтобы следующая фраза прозвучала как наблюдение, а не как удар. — У Семёнова с Нижней протоки в прошлом месяце проверка была. Три дня держали, половину снастей конфисковали. А у нас — ни разу за три года. Везение, наверное.

Михалыч смотрел на него. Элиас смотрел чуть мимо — на разобранный мотор, на поршни, на ветошь. Приём, отработанный на переговорах в Кульякане: когда собеседник давит взглядом, не встречай его — уводи свой в сторону, в точку, где давление рассеивается в пустоту. Тот, кто давит, тратит усилие. Тот, кто не принимает давление, сохраняет энергию.

— Тима, — сказал Михалыч после паузы, достаточно длинной, чтобы Элиас успел досчитать до семи. — Ты точно головой не ударился?

— Ударился. Но проходит.

Михалыч взял болт со стола. Повертел. Положил. Снова взял ветошь. Руки двигались быстрее — верный признак того, что внутри шла работа, которую он не хотел показывать. Этот человек думал руками, как другие думают ногами — расхаживая по комнате. Когда решение созревало, руки замирали.

— Долг закроем. Выйдешь на работу, отработаешь постепенно. Как раньше.

— Хорошо. — Элиас встал. — Одно ещё.

— Что.

— Мне нужен напарник. На лодке вдвоём безопаснее, особенно после того что случилось. Хочу взять Лёху Сомова.

На лице Михалыча прошла тень удивления — быстрая, контролируемая, но Элиас успел поймать.

— Лёха второй год работает. Зелёный.

— Научится.

— Твоя лодка, — сказал Михалыч. — Твой напарник.

Элиас кивнул и пошёл к двери.

— Тима.

Он остановился. Не обернулся.

— Рад, что живой. — Голос Михалыча за спиной был ровным, без тепла, без угрозы — голая констатация. — Но вопросы про лицензии оставь при себе. Понял?

— Понял.

Он вышел из сарая на солнце. Августовский свет ударил по глазам после полумрака — резкий, белый, астраханский. На причале ничего не изменилось: те же люди, те же ящики, тот же человек спал на мостках под жилетом. Артель жила своей жизнью — маленькой, тяжёлой, привычной, — и этой жизни не было никакого дела до разговора, который только что произошёл в дальнем сарае.

Лёху Сомова он нашёл у дальнего конца причала.

Парень сидел на перевёрнутом ящике и чинил сеть — растянул между двумя гвоздями, вбитыми в доску причала, и работал иглой, продевая капроновую нить через ячейки с той ровной, неспешной точностью, которая отличает людей, для которых процесс важнее результата. Элиас сел рядом на второй ящик и три минуты молча смотрел, как движется игла.

Лёха не нервничал от молчания. Не оглядывался, не торопился, не пытался заполнить тишину словом. Продолжал работать — ячейка за ячейкой, узел за узлом. Двадцать три года, невысокий, русский, с лицом, на котором нельзя было прочесть ничего определённого — ни ума, ни глупости, ни характера, ни его отсутствия. Спокойное лицо. Закрытое. Из тех, которые открываются только перед тем, кого впустят, — а впускают они не всех и не сразу.

В Синалоа Элиас искал именно таких людей. Не громких, не инициативных, не тех, кто лезет вперёд и хочет показать себя. Тех, кто умеет ждать. Тех, кто молчит не потому, что нечего сказать, а потому что понимает цену слов.

— Будешь ходить со мной, — сказал он. — С Михалычем договорился.

Лёха поднял глаза. Не удивление — оценка. Взгляд прошёлся по Элиасу коротко, как луч сканера, и вернулся к сети.

— Зачем тебе я.

— Потому что ты работаешь чисто и не болтаешь.

— С чего ты решил, что не болтаю.

— Год на причале — и про тебя ни одной истории. А здесь про каждого что-нибудь рассказывают.

Лёха помолчал. Игла остановилась на полпути через ячейку. Он, видимо, прикидывал — не стоит ли спросить подробнее, зачем именно ему нужен напарник, который не болтает. Решил не спрашивать.

— Когда выходим?

— Послезавтра. Пять утра.

— Буду.

Элиас встал и пошёл к воротам.

Он почти дошёл, когда за спиной послышались быстрые шаги. Обернулся.

Лёха. Подбежал — не по-спортивному, а по-человечески, как бегут, когда решение принимается в последний момент, и тело стартует раньше, чем голова успевает усомниться.

— Тима. — Он остановился в двух шагах, чуть запыхавшийся. — Я хотел сказать. Я видел. В мае. На Бахтемире.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.